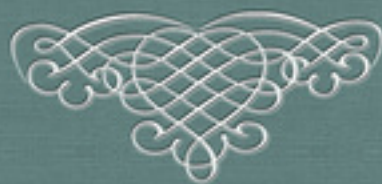


А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Бестужев-Марлинский

Наезды

«Public Domain»

1831

Бестужев-Марлинский А. А.

Наезды / А. А. Бестужев-Марлинский — «Public Domain», 1831

«На правом берегу Великой, выше замка Опочки, толпа охотников расположилась на отдых. Вечереющий день раскидывал шатром тени дубравы, и поляна благоухала недавно скошенным сеном, хотя это было уже в начале августа, – смутное положение дел нарушало тогда порядок всех работ сельских. Стреноженные кони, помахивая гривами и хвостами от удовольствия, паслись благоприобретенным сенцем, – но они были под седлами, и, кажется, не столько для предосторожности от запалу, как из боязни нападения со стороны Литвы...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	11
Глава III	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Александр Александрович Бестужев-Марлинский Наезды

Повесть 1613 года

Посвящена Ивану Петровичу Жукову

Глава I

*В поле витязь удалой!
Жеребец играет лютый;
С нетерпенья сокол твой
Рвет серебряные путы.
Реет лань в тени елей:
Смычь собак, седлай коней!*

На правом берегу Великой, выше замка Опочки, толпа охотников расположилась на отдых. Вечереющий день раскидывал шатром тени дубравы, и поляна благоухала недавно скошенным сеном, хотя это было уже в начале августа, – смутное положение дел нарушало тогда порядок всех работ сельских. Стреноженные кони, помахивая гривами и хвостами от удовольствия, паслись благоприобретенным сенцем, – но они были под седлами, и, кажется, не столько для предосторожности от запалу, как из боязни нападения со стороны Литвы. В тороках у некоторых висели зайцы, лисы, куропатки, цапли – знаки удачной охоты и вместе с тем доказательство, что поезд остановился тут не ночлегом. Иные охотники кормили соколов, посвистывая и взбрасывая их на воздух при каждом кусочке; другие снимали кожу с затравленных зверьков, но большая часть лежала или сидела у кашеварного огня, между тем как собаки, сомкнутые и сосворенные подвойно, затягивали голодным голосом песню нетерпения, которая заключалась обыкновенно громким ударом арапника. Народу было около сотни, но по осанке и одежде, равно как на самом деле, толпа делилась на два особые круга. Первые были все в одинаковых бараньих шапках с висящею набок тульею и почти в единообразных полукафтанных. Через плечо у каждого висел рог с порохом и небольшая лядунка для пуль. Самопалы их вместе с копейцами для сошек составлены были в козлы, с навитыми на приклад фитилями. Между ними заметно было более порядка, более важности. Они с некоторою гордостью посматривали на своих спутников: это были стрельцы.

Другая половина отличалась пестротой нарядов и разгульными ухватками – это была дворян: конюшенные, сокольники, ловчие, псари – кто в казацкой куртке, кто в татарском бешмете, кто в польском контуше, кто в русском летнике – в обносках разных господ и разных пор – живая летопись мнений и сторон, к коим попеременно приставали недавно бояре. Они толпились, бродили кругом, шумели, спорили, заигрывали друг с другом, между тем как настоящие слуги чинно укладывали кушанья на блюда, принимая их от приспешников, и носили к двум боярам, которые ужинали на раскинутом под березою ковре. Бранная, то есть расшитая шелками и унизанная по краям мелким жемчугом, скатерть лежала между ними, и на ней серебряные ложки, солонка, очень хитро сделанная уточкой, фляга и перечница – необходимое условие старинных обедов. Один из них казался очень молод – румяное, открытое лицо его выражало вместе добродушие и откровенность, но сверкающие черные очи обличали пылкие страсти; уста смыкались порой насмешливою улыбкою, и высокие брови выражали привычку

власти и отваги. Другой был лет за тридцать с походом, необыкновенно дороден и веселого лица. Он ел, и пил, и говорил неумоимо, рушил дичину, подливал вина, потчевал и хозяйничал, не забывая себя.

– Здоровье царского величества, нашего нового государя Михаила Федоровича! – молвил он, поднимая кубок выше головы.

– Много лет благоденствовать! – ответил молодой боярин, и оба выпили духом.

– Хорошо вино, хорошо и заздравье: имя доброго царя не поперхнется в горле. Не то было при Иване Васильевиче, когда наши старики глотали мальвазию за столом государевым, морщась, будто с горькой полыни, и здравствовали ему, щупая, тут ли уши! – сказал молодой боярин.

– Да, да, – прибавил другой, – я сам видел своего роденьку, боярина Титова, над которым изволил пошутить Грозный: окорнал ему ухо собственной рукою. Сказывают, что Титов бил челом за милость, за царское пожалованье; только между своими он пел другую песню, так что братья затыкали уши и запирали ставни.

– Не держали и ставни и запоры от слова и дела и кромешной опричнины: тогда был бы навет – ответа пыткой добьются. Помню я, дядя Агарев, как, бывало, меня ребенком пугивали: «Не плачь, Степан, – опричник съест!» И они впрямь были людоеды по зверской душе своей. Народ как дождь рассыпался, завидя черную тафью, и купцы покидали незапертые лавки. Как ты ни лаком до заздравной чары, дядя Наум, а и у тебя, чай, отпала бы охота целоваться с ней, видя, как жарят товарищей на угольях или пускают в народ медведей для потехи, среди Кремля белокаменного.

– Иное время, иное бремя, князь Степан. Грозный отбил власть у ханов и целиком переложил ее на нас со всею татарщиною. Он был злой человек, прости господи его душу, – а умный царь. Москва дрожала, князья и бояре ползали в унижении, зато соседи уважали нас, и Русь была тиха...

– О, тише воды и ниже травы – тише степной могилы после Батыева нашествия! Куда велика радость русскому, что соседи ему кланялись, когда всякий опричник топтал его под ноги, когда доброе имя и добром нажитые деньги зависели от первого доносчика, когда душа в теле и жена в постели принадлежали слугам и причетникам царским. Желая знать, утешна ль бы была сорока тысячам новгородцев, умирающих под долбнею, – старая погудка, что это побоище будет невесть как полезно их внукам!

– Дело ужасное... грех и вспоминать, не то что оправдывать. А все-таки царь Иван русской кровью спаял русское царство!

– Надолго спаял, нечего сказать! Если б не сильная рука Бориса – наша Русь прежде самозванцев распалась бы, как бочка без обручей. Лучше бы сказал ты, что он сломал стрелы, желая чересчур крепко связать их. Чуть не стало первого самозванца, набежало их дюжинами, и пошли играть короною, словно мячиком. Один кричит: подавай нам Владислава, другой хочет шведского королевича, третьи ждут самого Жигимонта, а всё помня царя Ивана, – он набил им оскомину. Счастье наше, что у всех русских один язык, одна вера православная: у нас не было головы, но было сердце ретивое, и в нем любовь к отечеству – она-то победила искусство, и силу, и храбрость неприятелей, слава Богу и князю Пожарскому! Теперь не станут враги издеваться над нами среди столицы – теперь мы избрали себе царя по мыслям и купцу, и чернецу, и доброму молодцу. Да здравствует род Романовых в годы годов и в роды родов!

– Да здравствует в честном мире и на ратном пире!

– Увидишь сам, дядя Агарев, что царь Михаил спеленает Русь любовью гораздо крепче, нежели Грозный страхами!

– Говорят, молодой царь такой добрый, приветливый...

– Спроси у меня – что твое солнышко! Бывало, без аршинной бороды и не выглядывай из-за думных бояр, а теперь государь всякому найдет словечко: старому и малому, – а говорит,

словно райской птицей поет. Когда едет верхом в Успенский собор к обедне – так народу, народу... Яблоку негде упасть – и все толпятся у стремени – всем он доступен и милостив, кланяется на обе стороны, роняет слова ласковые, раздает милостыню, обещает каждому суд и правду. Ну, право, он будто сошел с неба примирить все стороны и залечить все раны.

– Дай Бог, дай Бог успеху! пора отдохнуть святой Руси... Только она, как море после бури, бушует при берегах, хоть вихорь замолк посредине... Поляки еще в Смоленске.

– Мы их выгоним.

– Горн и Делагардий держат Новгород...

– Мы его выкупим.

– Легко сказать, князь Степан: наша родина истощена золотом и людьми, а поляки и шведы не дорожат грабленным и вербуют свои полки всякою сволочью: против нас венгерцы, против нас шотландцы, французы, всякая чужь белоглазая, – и когда дело дойдет до грабежу, то свейцы и литовцы стоят заодно... Бьют со всех сторон, а помощи ниоткуда... Я радехонек, что тебя прислали на смену, – а то ни днем ни ночью покою нет... Набеги на окрестности беспрестанные и от немецких и от польских дворян... и то бы драться не драться с воинами – а то все либо налеты, либо разбойники – не из чего рук марать: славы и добычи ни блески.

– Где опасности, там и слава. На Москве не надивятся, как ты здесь держишься до сих пор, когда самый Псков в осаде.

– Я как бельмо на глазу и немцам, и шведам, и Литве, да крепостца на острову, стрельцы удалые – никто и не сунется. Где добыча одно железо – туда мало охотников. Да что толковать о здешней стороне: послужишь – все узнаешь. Расскажи-ка лучше: что слышно про митрополита Филарета, отца государева?

– Ждут в Москву: к Жигимонту с вестью об избрании царя послан дворянин Оладьин; надеются, что король согласится на размен или выкуп и на мирные предложения.

– Я чай, наши братья гуляки, чтобы понравиться царской матери-инокине, теперь степничают, ханжат?

– Всего есть довольно, и я бы советовал тебе, дядя Наум, оставить здесь половину дороства, чтобы твой растянутый кушак и красные щеки не были укоризною иным великопостным лицам, которые уж ни свет ни заря собираются к заутрене в Архангельский собор молиться Богу, чтобы люди их слышали. Впрочем, молодой царь хорошо знает, что прилично монаху, что мирянину, и хоть прежние попойки перевелись в беседах палатных, однако он не прочь от скромного веселья.

– Только бояре до него не охотники... не правда ли? да и тебя, князь, калачом бы сюда не выманили, если б при дворе было очень весело: мы привыкли к удалству и раздолью военному – так мерный кубок не для наших губок!

– Чуть-чуть неправда: мне наскучила однообразная жизнь дворцовская – наскучило не иметь досуга, не имея дела; да притом, семь лет дравшись под открытым небом, – мне что-то душно в Грановитой палате. Позвонки мои забыли гнуться под латами – а там, брат, надо уживаться около любимцев.

– К слову стало, князь, – кто любимцем у молодого царя? Ведь нельзя же без этого?

– То-то и беда царская: возьмет любимца, как тросточку для забавы, – посмотришь, он станет клюкою, так что без него ни на шаг. До сих пор на царя грех сказать – глядит своими глазами, слушает своим ухом, – но кажется, в это ухо Солтыков золотою серьгою вдевается; он недаром ко всем лисит, перед всеми поклонничает. Впрочем, это одни догадки.

– Для меня все это было бы загадками: спасибо, князь, что надоумил. Тому, кто едет из стана в царские палаты, надо знать, где восток и где север, чтобы не заблудиться и не простудиться, чтобы знать, где живет Яга-баба, где растут золотые яблоки, где ключ живой воды. У двора и поклоны в счет и слова на весы кладут, когда мы не думаем считать ни ран, ни ударов. Да, как ни вертись – а придется с соловьями петь по-соловьиному!

– Предсказываю тебе, дядя Наум, что ты будешь плохой певчий; наше дело по-волчьи – так дадим себя знать.

– И рад и не рад, князь Степан, да отцовская воля гонит с поля; пишет и наказывает: я-де стар, хочу при себе пристроить тебя, хочу перед гробовой доской порадоваться, что и ты взыскан царскою милостию. Надо потешить старика; притом же и своя служба затеривается. Сам ты знаешь, умная голова, кто при светлых очах бьет мух, тот почетнее того, кто заочно бьет неприятелей, – и я хоть осьмью годами старше тебя в роду и по службе – а все такой же стрелецкий голова. Мы в этом крае не сидели сложа руки, и в течение четырех лет я почти не снимал стальной рубашки, не слезал с коня боевого, то под Новгородом, то под Псковом, то под Изборском, отражая и сторожа, сегодня гоним, завтра нападчик, и хоть не всегда с удачей, зато никогда с бесславием. Служба моя налицо – и на лице. Этот рубец на лбу – место печати. И саблю точат после боя с маслом: надо же и воину ободренье.

– Небось забирает охота покормиться: на воеводство, в теплое местечко, хоть и в холодный край. Дельно, дядя Наум, право, дельно. Здоровье будущего тобольского воеводы!

– А чем бы я не воевода, например, так сказать? Право, из рук не вывернется перо и с плеча не свалится соболя шуба. Была бы булава, будет голова. Власть дело великое.

– Не смани ты и меня в воеводы, дядя Наум; правда, зариться-то не на что: казаки, поляки и недруги так очистили матушку Русь от моря до моря, что воеводе придется после них подбирать теряные подковы, а то не только что в сундуках – да и в реках и в лесах они за пять лет вперед взяли оброки. Да не в том сила, дядя Наум; ты метишь в воеводы: с Богом. Только мне сдается, что судейский стул не сивка-бурка, как в сказке сказывается: «в одно ухо влезешь дураком – из другого выпрыгнешь умником».

– Свят, да не искусен, князь Степан! Я не говорю, что от важности станешь разумнее, а только разумнее покажешься; и если у двора скажут: «то-то делец!» – так во всей Москве целую неделю будут звонить про мое уменье. Ведь у меня не без родных, не без милостивцев, чтобы в случае покрыть промашку или пуще меду вспенить доброе дельце. Ты, кажется, говорил, что крестовой мой брат Акинфий Семенович пожалован в кравчие?

– Говорил, и повторял, и пересказывал, кто спальники и постельники, кто стольники и сокольники, начиная с главного конюшего до последнего истопника; перебрал я тебе ближних и думных бояр с путем – и нас, беспутных деток их, – да все это мне так надоело, что я на целый день прошу отдыха. Изволь-ка теперь отвечать на мои вопросы: есть ли здесь в окрестности красавицы? Отчизна Ольги искони славилась ими.

– Если б ты спросил меня, есть ли здесь медведи, я бы знал, как ответить тебе: я знаю наперечет все лисьи норки и заячьи тропки на сто верст в околице. Красной зверь – наше дело, а за красными девицами некогда ухаживать... Чуть свободный часок от службы или от битвы – я сейчас в отъездное поле, – ты видел, каковы у меня борзые! Вот, например, этот зверек (треплет собаку) в жизнь не скакал на вторую угонку – лишь бы завидел косого, то как свечка загорится, не успеешь тороков распутать. А вот с тем палевым, с подпалинами, в одиночку волка струню; раз, два – да и обзешь! Про гончих и говорить нечего – что твоя музыка, когда по горячему следу зальются... Прошлый год перед Покровом...

– Ради Бога, помилуй, дядя Наум! полно охотиться по полю, а ты пускаешь стаю по ска-терти.

– Как хочешь, князь, а мне веселее вспоминать, как я гонял, нежели как меня гоняли: не больно счастлив я был в своих душевных проказах, и если, глядя на других, дурачился при самозванце, когда было раздолье молодежи, так это более из шалости, чем по склонности.

– Не тем ты глядишь, дядя Наум, чтобы очи с поволокою и лебединая грудь не разогрели в тебе ретивого!

– Моя милая неразлучная, князь, – эта фляга. У меня сердце прыгает, когда я ласкаю любезную ее шейку, – а поцелуюсь с ней – искры из глаз сыплются. Не хочешь ли перемолвить с роденькою – ведь вы оба Серебряные! В ней же сегодня заморский ум...

– Этот гость хозяина вон выживает: у меня и то голова кружится.

– Пустое, приятель: пей посмелей – ум хорошо, два лучше.

(Чокаются и пьют.)

– Все это правда – только до тебя, дядя, не доедешь околицами: помнишь ли ты Вариньку Васильчикову – ту самую девушку, лет четырнадцати, на которую не раз любовались мы в царских сенях, когда тетка ее, княгиня Татеева, приезжала на поклон к Марине?

– Кажется, припоминаю... мы, впрочем, глазели тогда на всех пригоженьких, рады, что по новому обычаю они стали ездить во дворец без фаты... ну да что же из этого?..

– То, что у меня сердце памятьнее твоих глаз. Ты знаешь, что, сдружась с поляками, я был принят хорошо даже у царицы, а старуха княгиня, не помня души в своей племяннице, везде таскала ее с собою. Это дало мне случай познакомиться с ней покороче, – словом сказать, девушка мне крепко поглянулась. Вот настала и суматоха, и мы давай рассчитывать за хлеб, за соль с гостями незванными, давай резаться с прежними друзьями. Я был сперва под знаменами героя Шуйского-Скопина на севере, а потом, когда он умер, когда семибоярщина сверзила царя Василия, то с разными налетами, не сходя с поля, дрался я то с самозванцами, то с запорожцами, то с поляками, перелетал из места в место, и, разумеется, мне некогда было думать о невесте. Когда справили мы под рукою Пожарского знатные проводы Жолкевскому – и победителями вошли в Москву, – грусть меня взяла пуще прежнего: днем и ночью все она перед глазами; я ходил, будто потерял что драгоценное, – и что ж узнаю? Княгиня Татеева умерла, а мать, сказали мне, увезла Вариньку в псковские свои вотчины. В это время пришла моя челобитная об увольнении; трехлетняя разлука меня истомила – я решился. Прошусь на твое место осадным стрелецким головою в Опочку и, назначенный, скачу сюда сломя голову...

– Чтобы найти свой клад похищенным! Дворянка Варвара Васильчикова два года как увезена литовцами.

– Увезена! – вскричал князь Серебряный, пылая гневом, – увезена! И ты, военный начальник здесь, не заставил возвратить добычи, не искал, не отбил ее? Русскую дворянку выкрали из-под твоих пушек, и ты говоришь о том, как о продажной курице! Между тем, если бы у тебя отбили бочонок с фряжским вином, ты бы весь край поднял на царя. Это непростительная беспечность, это стыд русскому!

– Все ли ты кончил? – хладнокровно сказал Агарев, расправляя усы свои и барабаня пальцами в донышко опрокинутой стопы.

– Я бы не кончил до Воздвиженья, когда бы упреки мои могли быть так же черны, как твоя лень!

– И если б слова помогали чему-нибудь. Садись и выслушай терпеливо. Вотчина Васильчиковых лежит под Изборском. Приезд в нее богатой барыни из Москвы скоро стал известен всем окольным разбойникам, но многочисленная дворня пугала их. Наконец, два года тому назад, предместник мой был убит в стычке с немцами, и пан Жегота, шляхта, вахмистр панцерников, недалеко за Великою живущий, воспользовался безначалием, вкрался ночью далеко в наши границы и с шайкою своею напал на дом Васильчиковых, разграбил его, перебил людей и пять девушек, в том числе и боярскую дочь, увез с собою. Что я за ними не гнался, это очень естественно – меня еще тогда здесь не было, а впоследствии и без того было дела довольно.

– Но что же думали ее родные, кровные? Они могли бы ее выкупить золотом, если не железом?

– Вестимо так, да дядюшка ее, князь Татеев, опекун ее брата, прижался да и знать ничего не хочет, а мать вскоре умерла с печали. За сироту некому вступить.

– Подлые души! Но где же томится пленница?

– Никто наверно не знает. Говорили, что бездельник, который увез ее, держит ее взаперти. Впрочем, подобные случаи здесь не редкость, так молва перепала, и Варвара как в воду канула!

– Хотя бы на дно моря – я и там отыщу эту жемчужину. Разбойник Жегота близко живет, говоришь ты?

– Верст пятнадцать отсюда; это преотчаянная башка, он уже не раз угонял наши стада из-под самых стен замка, и хоть мы не оставались в долгу, но увертливая шельма, до сих пор не попался в петлю, которую поклялся я ему пожаловать.

– Вот тебе рука моя, что этому коршуну не летать больше на воле. Трубач, тревогу!..

– Что ты хочешь делать, князь Степан? – вскричал изумленный Агарев, между тем как трубные перекаты раздавались в окрестности и стрелы опрометью кидались к коням, уздали их, зажигали фитили; все мигом было готово: и дворня, и охота, и дружина стрелецкая. Князь молчал, но очи его сверкали, ноздри вздувались, и рука нетерпеливо сжимала рукоять кинжала.

– Что ты хочешь делать? – повторил Агарев.

– Заплатить наездом за наезды. Пусть знают эти панцерники, что новый голова не даст им солить впрок русских баранов, не только что торговать красавицами.

– Вспомни, князь, что ты сам привез царское повеление – не начинать бою без нападения, чтобы не помешать переговорам о мире.

– Мир заключают не с разбойниками.

– Но ты вторгаешься в польскую землю.

– Земля Божия – и русские не отказались еще от края, который в старину принадлежал им.

– Не лучше ли подождать: нам велено подать списки захваченных в плен, и, верно, их вытребуют от Речи Посполитой.

– Знаю я, как слушают паны своего короля и сената. Как бы не стал я перебирать день за днем, словно четки, – или отражать копыя перьями! Князь Серебряный булатом добудет правды!

– Либо рухнет в опалу. Подумай, князь.

– Боярин Наум Петрович, – я не зову с собою робких... Ты сдал мне начальство – теперь не твоя, моя голова в ответе...

– Никто не отнимает у тебя ни воли, ни власти, князь Степан, и ты обижаешь меня, старого своего друга, думая, что я удерживаю из трусости. Когда ты решился, я не отстану от тебя – пускай вправду окольничие разбирают, что право, что неправое, – наше дело руби – да и только. Я докажу тебе, что мои стрелы – удалы на эту работу: я не давал ржаветь их клинкам.

Друзья обнялись. Князь послал гонца к старшему сотнику с наказом принять начальство. Из охотников выбрали только молодцев и хорошо вооруженных – прочих отослали домой. Надели кольчуги, шлемы.

– На коней! – закричал князь Серебряный, – товарищи, – на Литву!

С этим словом он сжал коленами коня своего и первый спрыгнул в Великую. Стрелы съезжали в разных местах, и радостные восклицания: «на Литву, на Литву!» далеко раздавались по лесистым берегам реки пустынной. Солнце садилось.

Глава II

*Однажды по ночи глубокой
Мы слышим воющий набат,
Вдали стенанья, вопль жестокий
И тучи заревом горят.
«К коням, седлай, бесценно время,
На пояс меч, и ногу в стремя!..»*

Ночь была темная, дорога лесом дремучим. Проводник ехал впереди по излучистой тропинке; за ним начальники, за ними по двое стрельцы, тихо, безмолвно. Изредка слышалось храпение коня, или бряк узды, или удар подковы в подкову. Повременно вожатый останавливался, и тогда дремлющие всадники насовывались друг на друга. Он прислушивался, иногда припадал ухом к земле – и опять вскакивал на коня, и поезд снова трогался далее.

– Ближе ли? – спросил князь у проводника вполголоса.

– Вот из города, – отвечал тот, – вели, батюшка князь, изготавиться к делу: неровен случай, всполошатся раньше времени, а ведь эти головорезы с лезвия берут и только с лезвия уступают добычу!

Князь подъехал к Агареву.

– Друг, – сказал он, – решительный час близок – сердце у меня будто хочет выпрыгнуть из груди: это перед свиданием с милою.

– Либо с могилою, – возразил Агарев. – Ну, что ж вы стали? собаки скоро нас пронюхают. Надобно обойти селение!

Тут он отсчитал самых отчаянных в средину, назначил, кому отрезать конское стадо, кому напасть с улицы.

– Пан Зеленский, – сказал своему стремянному князь Серебряный, – этот стрелец проводит тебя к дому пана Жеготы, ты перелезешь с огорода и осмотришь, что там делается, между тем как товарищ отвлечет собак к воротам.

– Видно, что был в науке у лисовчиков, – ворчал Агарев.

– Да, брат, ведя четыре года разбойничью войну, поневоле научился разным хитростям, чтоб не остаться внакладе.

– Да заметь, где висят оружия, пан Зеленский, – примолвил Агарев, – и нет ли куда боковых выходов. Надо, как шапкой, накрыть это ястребиное гнездо, а то, говорят, у них есть подпольные норы – мигом дадут стрелкача.

– Будет все исполнено, – отвечал стремянный, надевая шапку, – я привык лазить по стенам, словно кошка, и вижу ночью, как рысь.

– Что это за выходец? – спросил Агарев Серебряного, когда Зеленский удалился.

– Польский шляхтич: служит у меня стремянным.

– И ты доверяешь ему в польской земле?

– Для него Польша – теперь не отчизна. Он служил шеренговым под командою полковника Лисовского и, бушуя пьяный, дерзнул выхватить против него саблю. Лисовский не любил шутить – и его ждала петля вместо похмельного стакана. Это было под Троицею – он бежал и явился ко мне, прося защиты. С тех пор он служит мне очень верно: я не раз имел случай убедиться в его преданности. Всем хорош, только чуть попало за ухо – так и черт ему не брат. Постой, кажется, это выстрел!

– Нет, только собаки возрились. Ого, уж приступом лают, теперь и нам пора поближе.

– Отдайте коней в завод – мы пешком проберемся вслед Зеленского. Там главная засада – там лучшая добыча. Вперед, товарищи, – да тише тени!

Зеленский влез на высокий плетень подле самой хаты Жеготы, и взоры его упали прямо в окно. При тусклом свете одной свечи лишь до половины видна была внутренность комнаты. Стены увешаны были звериными шкурами и оружием, пол усыпан болотной травой. В одном углу рослый молодой мужчина чистил пистолет. Подле стола старуха показывала жиду, пред ней стоящему, разные золотые украшения, на которые жадно смотрел он, потряхивая пейсирами. В другом углу, подле высокой изразцовой печи, сидела статная женщина в русском сарафане и горько плакала, закрыв лицо руками. Никто не обращал на это внимания.

– Але сто тридесяц злотых будет досыщ, пани Охмистрина, за эци сережки, – говорил жид, играя перед свечкой широкими подвесками. – Вода в жемчугах мутновата!

– Глаза у тебя мутны, христопродавец! – отвечала старуха, – да эдаких перлов сама пани Воеводина во сне не видала. Навесь эти серьги хоть на моську, так на ее уши станут заглядываться пуще, нежели на хваленые глаза пани Завиши. А что ты оцениваешь это ожерелье, решетная совесть? Говори, не заминайся.

– А стось, оно бы недурно, да переделки много; иной камень лопнет, оправка угорит – такой моды уж давно нет у вельможных паненок.

– Куда больно спесивы твои паненки! Да знаешь ли ты, что это ожерелье было на окладе у пресвятой Катерины-мученицы под Изборском, так после нее не стыдно и старостине надеть! Видно, Лейба, с тобой не пивать мне литок. Ко мне обещал быть Иоссель из Риги с ярманки, так с ним поскорее сделаемся: навезет всякой всячины, так что глаза разбегутся. Деньги на безмен и товары на промен: выбирай, чего твоей душеньке угодно.

– Але, пани Охмистрина, и мои злоты не обрезанные.

– Не стрижены, так бриты, не купаны, так обшарканы; уж знаком ты мне вподноготную! В прошлый раз много было недовесу в твоей расплате.

– За стось сердиться, пани Охмистрина? Ведь я не кую денег.

– А может, куешь и плавишь! Береги свой загривок, Лейба, я кое-что знаю. Попадешься в когти белому орлу, так и воронам достанется позавтракать!

– Але не гневайся, ясневальможная, – возразил оробевший еврей, – рука руку моет; мы же добрых людей не обегаем – даю десять червонцев за этот перстень.

– Иезус баранок Божий! только десять червонцев – ах ты, пеньковое семя! Да одна осыпка стоит более.

– А зе пану Зеготе эции клейноты дешево пришились.

– Смотри, пожалуй! он ни во что ценит кровь христианскую! Прошу прислушать, Яся, – то, что вы добывали из огня и воды, подставляя шею под топор и саблю, для него безделица, дрянь!..

– Что с ним долго толковать, – отвечал угрюмо сын старухи, – мне хочется попытать новый пистоль на черепе этого искарюта.

Он взвел курок, испуганный жид упал на колена. В это время послышался лай собак у подворотни.

– Это отец, – сказала старуха, – поди, Яся, отвори ему калитку; он, чай, не с пустыми руками воротился.

Но собаки замолкли, и не слышно было никакого стуку.

– Нет, это не он, – сказал Яся, прислушиваясь, и захохотал, увидя, как жид увивается у ног его, прося пощады. – Полно кланяться, полно, ведь ты лбом злотых не напечатал. Как ты думаешь, синайская пиявка, знаю я или нет, что ты продал пана Цыбульского, моего закадычного друга, гетману, когда тот свел с конюшни его арабского жеребца?

Жид побледнел как полотно, услыша это обвинение.

– Конечно, пана Цыбульского не воротишь из аду – однако ж как ты вил ему веревку, чтоб туда спуститься, так ступай же туда обмеривать его старую водкою. Подавай деньги!

Жид, трепеща, опустил руку за пазуху, но медлил – ему, казалось, трудней было расстаться с кошельком, чем с жизнью.

– Подавай! – закричал разбойник громовым голосом. Еврей отдал ему кошелек, но все еще держался за ремешок.

– Не погуби, не разори, – вопил он, – будь ласков!

– Я тебя приласкаю, – зверски сказал Яся, ударив жида по руке. – Ну, Лейба, душа твоя у меня в кармане – пора и туловище записать в расход. Лучше и не теряй слов на ветер! Пusti тебя живого, так не оберешься хлопот да жалоб, – а по мертвом жиде не поют панихид ни монахи, ни судьи! – Он медленно поднял дуло, забавляясь отчаянием несчастного. Видя это, сидящая в углу девушка с воплем кинулась удержать руку убийцы.

– На то ли вы томите меня в неволе, чтобы кроме своих горестей быть свидетельницею злодейства!

– Прочь, – вскричал с негодованием Яся, отталкивая ее, – прочь, если не хочешь камня на шею и в пруд головой! Что ты, матушка, дала волю этой девчонке – благо полюбила брату Яну плакса негодная. Прочь, говорю!

Старуха схватила пленницу, желая ее вытащить, та упиралась, жид кричал – эта борьба раздражала разбойника – он вытащил его на середину – и упер дуло в грудь.

– Помилуй! – шептал полумертвый жид.

– Спасите! помогите! – восклицала девушка.

– Это она! – произнес кто-то под окном; выстрел сверкнул, и разбойник безгласен упал на землю. Стрельцы на этот знак со всех сторон ворвались в дом и в село. Крайняя изба запылала, чтоб отманить мужчин на пожар. Вопль испуганных женщин, плач детей, крики грабежа, завыванье собак, выстрелы и звон оружия раздавались на улице; зарево играло в небе. Наконец всё уступило отваге – вооруженные и безоружные бежали в лес. Стрельцы таскали рухлядь, выводили скотину, ловили птиц, – одним словом, поступали по-военному. Агарев с распростертыми объятиями бежал к другу.

– Поздравляю, брат, поздравляю, – кричал он издали, – наконец ты нашел свою Вариньку!

– Нет, – отвечал Серебряный сердито.

– Как нет? Да разве та красивая девушка, которую велел я выпроводить из драки и беречь как зеницу ока, не...

– Не та, которую я ищу. Она тоже русская пленница и недавно увезена из-под Острова этим бездельником Жеготой. Он, кажется, дал зарок перетаскать всех наших красавиц в Польшу, но будь я не князь, а грязь, если он не расплатится за свои разбои головою. Мне одно всего досаднее, что я наделал столько шуму даром.

– Как даром? Добыча презнатная: у этих панцерных разбойников лари не пустые – да и рогатого скота, кроме коней, голов двести.

– Что мне в них, когда не поймали ни куницы, ни волка, пусть ад закабалит мою душу, если я не полечу головней и не размету конским хвостом пепел замков магнатов окрестных, если мне не выдадут пленницы. Притащите ко мне старую ведьму, мать Жеготы.

Старуху привели бледную, дрожащую, с растрепанными волосами, – она рухнулась в ноги разъяренному князю.

– Разорил вконец, не сгуби хоть души, родимый, даруй час на покаяние! – сказала она.

– Старуха, – возразил Серебряный, – если бы тебе три прежних века оставалось жить на белом свете – даже их бы не стало замолить все грехи твои, и те, которые потакала ты в сыновьях, и те, на которые наводила. На твоём пороге дымится кровь гостей, и руки твои привыкли считать цену чужой гибели. Не жалуйся на разграбленное: что приходит, то и уходит неправдой... Однако послушай, я ворочу тебе треть твоего добра, отпущу самое на волю, если ты мне скажешь без утайки, куда девали вы пленную дворянку Варвару Васильчикову.

Старуха всхлипывала и молчала; страх мужа оковал язык ее.

– Куда вы девали Варвару Васильчикову? – вскричал вспыхивый князь, скрежеща зубами. – Говори или ты будешь молчать до Страшного суда. Я горячим свинцом припечатаю язык твой к гортани, змея подколотная! Признавайся, где она.

– Муж мой отдал ее вместо погодной платы за зеленпольскую аренду, – отвечала наконец уstraшенная старуха.

– Но когда, но кому продал он?

– Вельможному пану Колонтаю режицкому.

– Иду на Колонтая! – грозно вскричал Серебряный. – Пан Зеленский, свежего коня и тридцать стрельцов за мною!

– Стой, князь, – сказал решительно Агарев, заступив ему дорогу. – До сих пор наезд наш был только вздорен – он будет безрассуден, если ты пойдешь далее. Горсти людей недостаточно.

– Храбрость крепче силы.

– Но обе вместе крепче одной храбрости: подумай. Заря скажет полякам, как мал отряд твой; притом в рогах осталось не более как на пять зарядов пороху, и вас возьмут руками, словно мерзлых щуров, или перестреляют из-за деревьев, как тетеревов. Идти на славную опасность молодцу любо, но в бесполезную гибель – глупо. Как ты хочешь, я не пушу тебя.

Князь почувствовал справедливость этих доводов и потупил взоры, молча сжал руку Агареву, надвинул на глаза шапку и вышел на улицу.

– Готово ли? – спросил он.

– Все в порядке, – отвечал пятидесятник. – И в голове, и в хвосте поезда наряжены люди надежные, с саблями и копьями.

– Ступай! – вскричал князь; караван двинулся.

Назад возвращались уже прямою большою дорогою, и стрельцы ехали в несколько рядов. Захваченных коней и быков гнали в середине; раненых вели под руки. Многие из вершников были уже навеселе, все шутили, смеялись – рассказывали друг другу свои подвиги. Агарев, который везде и всегда сохранял свое равнодушие, старался развлечь, разбабавить друга – но тот ехал мрачен и печален. Вдруг остановился он, как будто какая счастливая мысль перелетела ему дорогу.

– Прощай, Агарев, – сказал Серебряный, – похозяйничай за меня в Опочке: я еду искать судьбы моей. Не спрашивай, как и куда, – если я не дойду и не выйду сам – так уж другие мне не помогут. Жди меня три дни, жди неделю – а потом давай знать родным и властям, что я пропал без вести.

– Удадьство и любовь заманивают тебя, друг, – возразил Агарев, – и заманивают напрасно. Кто тебе порука, что Варинька еще у Колонтая? Как увезешь ты ее, хоть бы она и там? Согласится ли она сама на опасное бегство, а пуще всего, проберешься ли ты до нее в земле, переполошенной наездом нашим? Теперь всякий на коне и всякий настороже – слышишь ли?

Далекий набат разносил тревогу в окрестности.

– Это звон моего свадебного или похоронного колокола: дело решено, и я не ворочаюсь с полдороги. Судьбы не встретишь и не догонишь, если самой не вздумается. Пан Зеленский, ты едешь со мною: выбери что ни лучших коней под себя и в завод – таких, чтоб убить да уйтить! Здесь ли мой дорожный чемодан?

– Здесь, – отвечал Зеленский, переседывая коней и пристегивая в торока что надобно.

– Возьми его с собою, а все тяжелое оружие отошли домой: теперь нам нужнее лисий хвост, чем волчьи зубы. Готов? – вперед. Прощай, любезный Агарев, – не поминай лихом!

– Да сохранит тебя Николай-чудотворец и Тихвинская Богородица – в дальней дороге и на чужом пороге! Дай Бог свидеться подобру-поздорову.

Друзья обнялись – Серебряный помчался.

– Жаль мне тебя, умная, только буйная головушка, – примолвил Агарев, провожая глазами друга в темноте ночи и вытирая рукавом слезу. – Жаль тебя, доброе, только слишком ретивое, сердце!

Скоро умолк и гул топота. Агарев медленно поворотил коня и, задумчив, поехал догонять отряд свой.

Глава III

Вот едет он путем-дорогою, стороною далекою, и наехал он ни распутие: посредине столб стоит, на столбе щит прибит, на щите надпись, как жар горит: «Поедешь вправо – будет конь сыт, а сам голоден; поедешь влево – будешь сам сыт, а конь голоден; поедешь прямо – будут оба сыты и оба биты!» Иван-царевич призадумался: самому поститься – с силой проститься, на тощем коне я горе-богатырь – ни биться, ни драться, ни ратиться; поотведаем счастья на третьем пути: поглядим, кто побьет меня сытого, на свежем коне, при булатном копье?

Старинная народная сказка

Наши путники под завесою темноты счастливо пробрались довольно далеко внутрь Люцинского повета.

– Вот и сам Люцин, – сказал Зеленский князю Серебряному, и князь взглянул направо: денница занималась, ленивый туман волнами поднимался с зубчатых стен замка, стоящего на холме, – и тихо лежал городок у ног его. Еще ни одна дверь не чернела, ни с одной трубы не вился дымок, и окружный лес, понемногу рассветая, отрясал на путников холодную росу. Далее к Режице (старинному Розитену) виды становились еще живописнее. Холмистый край испещрен был озерами, над стеклом коих бродили махровые пары; и дикие рощи, и зыбкие тростники отражались в неподвижном их лоне. Порой только звучно прыгала из воды щука или ныряла дикая утка; струи разбегались кругами и снова сливались в зеркало.

Зеленский ехал впереди и удачно поворачивал то вправо, то влево на тропинки, иногда для сокращения дороги напрямиком, иногда объезжая деревни околицами.

– Ты славно знаешь все закоулки, – сказал ему князь Серебряный, – я не ошибся, полагаюсь на слова твои заране.

– Как мне не знать этого края! Мы целый месяц стояли здесь с гетманом литовским Карлом Ходке ни чем, собирая силы на шведов, – да потом и разгромили их в прах, даром что их было втрое более. В то время я служил у пана Опалинского и не сходил с коня на полевание. Зверям от нас было не лучше житье, как и людям, и я волей и неволей должен был узнать наизусть все заячьи стежки.

– Скажи, пожалуй, отчего мы не проехали ни одной деревеньки, которая бы походила на другую? В иных наши русские избы с узорными полотнами по кровле и высокими деревянными трубами в прорезе; в иных мазанки, с горшком для дымовья, в иных чухонские лачуги, у которых из каждой щели, как из жерла, чернеет копоть.

– Изволишь видеть, князь, край этот зовется теперь Польскими Инфантами и уступлен Польше немецкими рыцарями. От этого здесь есть и чудские переселенцы, и туземные латыши, и старинные литовцы, и настоящая польская шляхта, и беглые русские, которыми в особенности заселены пограничья. Да и между панамы такой же сброд: кто немец, а кто литвин, кто барон, кто князь.

– Ну, а хорошо ли они знают остальную Польшу и другой конец Литвы? Украину, Подолию?

– И все-то поляки, кроме своего округа, не знают, да и знать не хотят отчизны – а здешние медвежники всех менее. Варшавцы и краковяки смеются над ними; они презирают варшавцев и краковцев вместе и доказывают, что предки их были уже дворянами, когда в Польше жили одни лягушки.

– Тем лучше, тем лучше. Стало быть, нам без страха можно будет рассказывать сказки. Помни же, пан Зеленский, что я литовский дворянин Яромир Маевский, а ты шляхтич Стре-

бала; что мы раненые взяты были в плен в Кремле и теперь, вымененные, возвращаемся домой через северную Русь, по приказу государеву, чтобы не столпить пленных на военной дороге к Смоленску. Говоря по-польски, как поляк, и зная почти всех бывших при дворе Дмитрия, и в войсках коронных, и в полках Тушинского вора, я надеюсь порядочно подделаться к польскому ладу. Про тебя и говорить нечего: ты родовитый добродзей, а впрочем, всему делу авось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.